
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
НОЦ «Музей и культурное наследие»

**МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ
СЕВЕРНОЙ АЗИИ:**

**ТРУДЫ
АЛЕКСАНДРЫ
ВИКТОРОВНЫ
ПОТАНИНОЙ**

Издательство
Томского университета
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Жизненный подвиг Александры Викторовны Потаниной (<i>Н.М. Дмитриенко</i>)	5
Записки о моих родных и о моем детстве. <i>Публ. Н.М. Дмитриенко</i>	15
Из странствия по урянхайской земле. <i>Публ. Э.И. Черняка</i>	34
Встреча с двумя монгольскими ванами. <i>Публ. И.А. Голева</i>	60
Среди широнголов. <i>Публ. С.Е. Григорьевой</i>	77
Религиозная пляска в монастыре Кадигава. <i>Публ. К.А. Кузоро</i>	96
Гумбум, монастырь зонкавистов. <i>Публ. К.А. Кузоро</i>	103
Утай (из путевых заметок по Китаю). <i>Публ. С.Е. Григорьевой</i>	118
Из наблюдений над жизнью верхнеудинских бурят. <i>Публ. И.А. Голева</i>	133
Молочное хозяйство у бурят Верхнеудинского округа. <i>Публ. И.А. Голева</i>	142
О китайской женщине. <i>Публ. Н.М. Дмитриенко</i>	148
Список принятых сокращений	176
Именной указатель	177

ЗАПИСКИ О МОИХ РОДНЫХ И О МОЕМ ДЕТСТВЕ¹

Отец мой был священник Знаменской, или Мироносицкой, церкви в Нижнем Новгороде, Виктор Николаевич Лаврский. Родом он был из Нижегородской губернии. Прадедушка наш был из монастырских крестьян, в духовное звание поступил чтецом в церковь в селе Комлеве (имение Философовых). Дедушка Николай Васильевич был священником в очень бедном селе. Фамилии он не имел*, писался по церкви Никольским. Семья у него была большая, жили бедно. Бабушка Елена Григорьевна умерла 72 лет. Я уже хорошо ее помню. Она была человек энергичный и веселый, даже несмотря на старость, смотрела на жизнь легко и говорила, что ей умирать не хочется и что «чем больше живешь, тем больше жить хочется»; но когда пришла смертная болезнь, она переносила ее с терпением, не жалуясь и радуясь тому, что заболела, бывши у дочери своей, моей тетки, Капитолины Николаевны, а не у сына, радовалась потому, что не наемные руки, не чужие за ней ухаживают в болезни. Несмотря на то, что семья у дедушки была большая, бабушка, по-видимому, легко справлялась с ней и умела устроить так, что старшие сыновья помогали ей в ее домашних хлопотах и в няньчине маленьких. Одевалась бабушка в сарафан и носила волосы под повойником, по-бабы, покрываясь бумажными платком.

Старший их сын был Александр, по фамилии Фиалковский; говорят, он был большой щеголь, любил богатство и, оставивши духовное звание, поступил на гражданскую

** Как не имел ее тогда почти никто в духовенстве, не прошедши через духовную школу, где самым первым действием к наложению кляйма образованности было наречение поступившему фамилии (прим. автора).*

службу. Образование он получил в Нижегородской семинарии и Московской академии, затем служил, если не ошибаюсь, некоторое время профессором в той же семинарии; в это время давал уроки в некоторых дворянских семействах; знаю, что давал уроки Белокрыльцевым; говорят, был очень красив и смел; умер в Турции во время чумы. Другой мой дядя, Андрей Десницкий, тоже ушел из духовного звания, служил чиновником горного ведомства в Екатеринбурге и умер тоже молодым и неженатым. Бабушка очень горевала о нем и нередко вспоминала о том, как его провожали на службу на Панские бугры, откуда был вид на Волгу, – так в Нижнем называлась та часть, где после развели Английский сад. Раньше там жили, говорят, пленные поляки.

У нас в доме было много вещиц из Екатеринбурга – камней, печатей и колец из сердолика; но рассказов о жизни Андрея Николаевича не помню. За Андреем следовал мой отец, за ним было еще два брата – Неофит и Василий. Они носили фамилию Фиалковских. Василий Николаевич и донныне жив. Он был священником сначала в селе Матюшеве, затем был переведен в Нижний на Гребешок и потом – в Кунавино, к Владимирской церкви, где теперь священствует сын его, Иван Васильевич, а дядя живет у него, теперь почти совсем уже слепой. Неофит Васильевич* учился также в Нижегородской семинарии, но так как с детства был хромым, то и не мог поступить в духовное звание, был чиновником в гражданской службе, впоследствии служил в строительной комиссии; затем переехал жить в Одессу и в последние годы был там мировым судьей восьмого участка. В молодости он очень сильно пил запоем и тем доставлял очень много горя бабушке, и каждый раз пьянство его кончалось белой горячкой; впоследствии от пьянства или от запоя его лечил какой-то знахарь сильным настоем, и здоровье дяди всегда было несколько расстроено. Бабушка после смерти дедушки жила до самой смерти с Неофитом Николаевичем, но часто содержание их обоих падало на отца. Иногда даже Неоф[ит] Ник[олаевич] и жил у нас, в то время, когда я была еще совсем мала. Он впоследствии женился, и его свадьба была, пожалуй, самым ранним

* Так в тексте, нужно
Неофит Николаевич.

моим воспоминанием. У Неоф[ита] Ник[олаевича] было двое детей, но сын был в падучей и умер молодым, дочь – Елена Неофитовна – вышла замуж за учителя одесской гимназии Тищенко. Было еще у нас две тетки: одна – Марья Николаевна – была выдана замуж за священника в село Селитьбу Нижегородской губ., умерла рано; после нее остался сын по фамилии Мелиссов, но он умер рано и в жизни не был с нами близок, имел очень много неприятного и нехорошего. Было подозрение, что жил шулерством. Другая тетка – Капитолина Николаевна – жива до сих пор; она очень рано овдовела, была раньше за священником в селе Матюшине Горбатовского уезда. Сколько себя помню, она всегда жила в Нижнем, имела троих детей; они училась в семинарии, а она жила рукоделием, вязала из шерсти валенки² и, главным образом, жила тем, что пускала на квартиру семинаристов и готовила на них. Старший ее сын, Василий Петрович, был впоследствии писцом в какой-то канцелярии; семинаристом я его уже не помню; он очень рано женился на дочери кандидата, как назывались тогда выслужившие офицерский чин и получавшие пожизненно известный денежный оклад. Его мать и Неофит Николаевич были против этого брака. Впоследствии нянька рассказывала мне, что дядя жестоко избил племянника при этом случае. Через год жена Васеньки умерла, а еще через год умер и он. оба – от чахотки. Я помню, что очень боялась его мертвого и в то же время мучилась мыслью, не в летаргическом ли он сне. За Васенькой у тетенки следовали еще два сына – Александр и Николай; оба живы и теперь; один – с именем Алексия, епископом Сарапульским, викарием Вятской епархии, другой служил исправником в Лукояновском, кажется, уезде, Нижегородской губ., теперь советником губернского правления в Нижнем; фамилия их – Соболевы. С ними мы теперь не близки.

Отец мой очень мало рассказывал о своей детской и семинарской жизни. Раз только помню, когда мне было лет 10, я с кем-то из других детей, играя или разговаривая, выказала гордость и превосходство своим положением; вечером, в сумерки, отец подозвал меня к себе и рассказал о себе маленькую историйку. «Раз, когда я еще жил дома, – говорил он, – умер

в нашем селе дьячок. В этот день случилась гроза. Я боялся грозы и потому забился на печку или на полати и оттуда услышал, как отец, думая, что в комнате никого нет, говорит бабушке: «Мать, знаешь, я думаю определить Викторку дьячком к нашей церкви, в семинарии у нас и без того двое, пусть его, хлеб добывает, а читает он бойко». Отец говорил, что он просто похолодел при мысли, что ему всю жизнь придется проводить в роли деревенского дьячка и ничего не видать, кроме Селитьбы; но бабушка заступилась за него и сказала, что лучше уж и его учить в семинарии. «Вот, – прибавил отец, – и была бы ты теперь деревенской девчонкой, а не дочерью отца протоирея; чем же тебе гордиться перед другими девочками?». И так это на меня сильно подействовало, что я и до сих пор часто вспоминаю и думаю о том, как мало, собственно, зависит в нашей жизни наше положение от нас самих и как много от стечения обстоятельств, складывающихся различным образом, иногда на пользу, иногда на вред.

** Ректор, сказывал
отец, предсказал ему
поступление в академию:
«Ну, ты будешь
в Лавре учиться;
будь ты Лаврский»
(прим. автора).*

Кончивши семинарию, где отец от ректора получил фамилии Лаврский*, он поступил в Московскую академию. В это время Московская академия, кажется, переживала свои лучшие дни. Только что устроенная в материальном отношении митрополитом Платоном, она в это время процветала в научном отношении; философия в ней была в почете, и Голубинский, если не ошибаюсь, был любимым профессором студентов.

Читали в это время студенты Марлинского и Жуковского; о Пушкине отец что-то не говорил; может быть, это уже само собой разумелось. Жуковского молодежь академическая встречала с восторгом. В академии отец был особенно дружен с Матвеем Ореховским, земляком, с которым они обыкновенно на вакации³ уходили из академии пешком до Ярославля, где садились в лодку и плыли до Нижнего. Отец рассказывал об этом тоже как-то при случае в подтверждение того, как много значит, как относится человек к известному явлению и как важно неуклонно следовать своему убеждению. Он рассказывал, что раз лодка уже была нанята и задаток отдан, но лодочник искал еще пассажиров, и, когда

студенты пришли к лодке, чтобы ехать, в ней было множество проституток, которых антрепренер⁴ отправлял на ярмарку. Молодые люди возмутились таким обществом и не захотели ехать, несмотря на убеждение лодочника и на его уверения, что в таком обществе еще веселее будет. Это отвращение от их веселого общества подействовало так, что одна из девушек, только что завербованная в эту компанию, возвратилась домой и впоследствии, при встрече с Ореховским, высказывала ему и его другу горячую благодарность за свое спасение, хотя с их стороны непреднамеренное.

Отец кончил семинарию в 1834 году; оттуда его послали на службу в Астрахань, в семинарию. Что он преподавал, — не знаю, едва ли не философию. Там он не прослужил и года и перешел в Нижегородскую семинарию.

Когда отцу было 27 лет (в 1834 году), он женился на моей матери, которой было всего 16 лет. Она была дочь Василия Григорьевича Владимирова, священника Архангельского собора в Нижнем. Дом их находился в Кремле, и двор занимал две арки, которыми с внутренней стороны кремлевские стены были богаты. Из передних окон дома вид был прямо на Волгу, видно было очень далеко, и мать моя этому приписывала свое хорошее зрение и любовь к красивым видам.

У дедушки только и было, что сын и дочь. Сын, Флегонт Васильевич, кончил жизнь рано. После него остался только один сын, Анатолий, от первой жены, Марии Степ[ановны] Воиновой. Анатолий скитается теперь по Сибири жителем ночлежных домов. Мать моя, Екатерина Васильевна, и теперь еще жива, и от нее-то в детстве нашем мы и слышали много рассказов об ее ранней жизни и наших родных. Дедушка учился в семинарии в то время, когда преподавание велось еще на латинском языке. Материальная обстановка, должно быть, была в то время ужасна; голодные семинаристы иногда загоняли обывательских свиней и закалывали их где-нибудь на задворках, как рассказывал один из братьев дедушки.

Сам дедушка тоже жаловался на бедность, которую он испытывал в первые годы в училище и в семинарии. Он был сын дьячка и потому денег у него совсем не водилось, а между тем, кроме еды, надо было денег и на бумагу, и на книги,

и на перья⁵. Дедушка очень рано стал зарабатывать эти необходимые себе гроши, делая перочинным ножом птичьи клетки. Затем он стал переписывать учебники и словари, печатных книг было мало, и семинаристы пробавлялись больше списанными тетрадками. Этими ранними своими занятиями дедушка объяснял и свое искусство резчика, и красивый почерк.

Резал из дерева он довольно искусно; у нас долго сохранялась вырезанная им деревянная чернильница в виде льва и много палок с изображением голов вместо набалдашников; было также его работы резанное из кости распятие. Вообще он был любитель технических работ; впоследствии у него был токарный станок. Был он также большой латинист, иногда даже говорил со своими сверстниками-стариками на этом языке и любил читать латинских классиков. Впоследствии у него был шкаф с книгами, где можно было найти и Вергилия, и Горация, и др. Он и внука своего Валериана научил любить латинских классиков. Кроме книжек, дедушка собирал также все рукописи и письма, и у него было множество перешлетенных тетрадей из синей бумаги, где вписаны были разные оды и рассуждения, читанные в его время на семинарских актах. Впоследствии он имел у себя учеников, которых обучал грамоте. Женат он был на Марье Матвеевне Филипповой, дочери кафедрального протоиерея в Нижнем, Матвея Филипповича. Бабушкин портрет сохранялся от ее молодых лет, снятый, должно быть, вскоре после свадьбы.

Бабушка была хорошенькая, круглолицая, с очень добрым и скромным выражением; снята она была в желтой атласной головке⁶, или косынке, повязанной наперед бантиком, из-под головки на лоб выпущены три маленькие буколки; платье темно-зеленое, как во времена директории⁷, открытое на груди до кушака, подвязанного под мышками; грудь и отчасти шея прикрыты большим тюлевым воротником, сверху красная турецкая шаль.

Матвей Филиппович был женат на крестьянке Демидова, но, должно быть, на богатой, потому что у них в доме много было крепостных людей, а за бабушкой, Марьей Матвеевной, в приданое была дана девка Ненила. Бабушка была

не бойкая, ее две другие сестры, Александра Матвеевна и Настасья Матвеевна, были более светские и костюмом своим отличались от нее, не носили головок, а волосы чесали с высокими черепаховыми гребнями, и в парадных случаях носили чепцы⁸. Бабушка же рассказывала, что во время ее девичества у них была нянька, которая требовала, чтобы девушки прятались от мужчин. «Хоть корзину на голову надеть, коли уж прикрыться нечем, – все лучше, чем так показаться», – говорила она. Но дочери Матвея Филипповича, по-видимому, этому правилу уже не следовали: только еще Марья Матвеевна, по старой памяти или просто по характеру своему, – избегала посторонних и, должно быть, ни с кем не вела знакомства; по крайней мере, мать моя в детстве никого не помнит, кто у них бывал. Чаю еще в доме Матвея Филипповича не пили. В кухне сидели с лучиной точно так же, как и у нашего дедушки, и женщины, т. е. бабушка Марья Матвеевна и Ненила, всю зиму пряли. Холстов дома уже не ткали, отдавали на сторону. Мать моя тоже любила, чтобы ее рано поутру будили, когда старшие вставали прясть. У Ненилы каждый год рождался ребенок, и всякий раз дедушка считал своим долгом бить ее за это; ребенка куда-то отправляли, а Ненила, отлежавши несколько дней в бане, опять принималась за хозяйство. Дедушка вообще, должно быть, был суров и неласков с детьми и с домашними; впоследствии он и сына своего Флегонта часто бил. В кухне у дедушки жили иногда семинаристы, товарищи, должно быть, Флегонта, но мать моя росла около матери, и у нее что-то не сохранилось никаких воспоминаний о своем брате и его товарищах. Как развлечение для нее было, когда ее посылала мать к соседке их Евфалии Дмитриевне, у которой жил Норман, полупомешанный казанский помещик. Мать его очень боялась и всегда выбирала время, когда он спал. Евфалия Дмитриевна и сама несколько раз в году сходила с ума; и вот в это-то время или после, когда она поправлялась, бабушка и посылала мать, чтобы отнести что-нибудь состряпанное повкуснее. По-видимому, веселого тут было немного, но так как других развлечений не было, то и это нравилось моей матери. Другими праздниками были для нее приезды бабушкиной тетки из деревни; она была

замужем за управляющим демидовским, жила очень богато и раз в год приезжала на ярмарку, посещала с мужем родных и делала всем подарки деревенскими гостинцами. Бабушка получила горловую чахотку и затем скоро умерла, когда маменьке было только 14 лет. Потеря эта была очень тяжела для матери, она была очень одинока. Плача и горюя, она научилась вызывать в своем воображении появление галлюцинаций. Для этого она брала ношенный покойной матерью на голове платок и, нюхая его, уходила в сумерки в сад. Здесь, ходя по дорожкам, она вызывала к себе мать, и ей казалось, что бабушка выходила из беседки и шла к ней по дорожке.

Дедушка после смерти бабушки ужасно тосковал, но не сделался ближе к детям, должно быть, не умел; напротив, скоро начались неприятности с сыном, который начал кутить. В это время дедушка все поля своих любимых книжек покрыл коротенькими надписями, вроде того: «Не стало моей Марии! В этот час отлетел от нас наш ангел» и т. д.

Училась мать моя около тех учеников, с которыми занимался дедушка; о том, чтобы с ней специально занимались, — она не помнит. Обучение главным образом состояло в списывании прописей. Впоследствии она научилась ценить поэзию и исписывала тетрадки стихами Козлова, Жуковского, Рыльева. Войнаровский произвел на нее очень сильное впечатление. Большое тоже впечатление произвел на нее какой-то роман во вкусе Руссо под названием «Лолотта и Фанфан», если не ошибаюсь. Читала она также «Нума Помпилий», тоже, по-видимому, роман. В эту пору ее сиротства начиналось было обучение ее французскому языку. Дедушка ездил давать уроки девицам богатого купеческого рода, Комаровым, и последние, должно быть, пригласили и мою мать; но это продолжалось недолго и большого следа в жизни матери не оставило. Правда, что это был почти единственный дом другого сословия, который она видела. Впрочем, еще ранее с бабушкой Марьей Матвеевной раза два в год они ходили в дом какой-то барыни-помещицы, у которой был сын. Кажется, у дедушки от него были различные масонские сочинения. Знакомство это продолжалось и потом. Когда маменька была уже замужем, и у нее был сын Валериан,

она была у этого семейства (по фамилии Ильины) в имении во Владимирской губ. Молодости девической, веселости, а тем более ухаживателей у матери моей совсем не было. Она, мне кажется, совсем не смотрела на себя, как на большую, кроме того, когда она стала формироваться, у нее начала периодически появляться сыпь на руках, и иногда руки ее разбалчивались окончательно, и она сидела с обвязанными пальцами. Когда ей минуло 16 лет, дедушка сообщил, что за нее сватается жених, но, по молодости невесты, он ему отказал. Впоследствии мы немного знали этого человека, – он был священником Похвалинской церкви, казанский, с очень мрачным характером, и я всегда радовалась за мать, что ее Бог спас от него.

В том же году посватался отец, согласия ее не спрашивали, да ей не приходило и в голову заявлять свою волю. Отец был стройный и красивый, он мог нравиться; как жених он стал бывать у матери по вечерам и приводил с собой своего шафера Андрея Абрамовича Афинова. Это был человек веселый и по возрасту более подходил к невесте; с ним она была болтлива и много смеялась, за что, к великому своему огорчению, получила однажды выговор от своего жениха. Вообще между отцом и матерью была тогда сильная разница не только в летах, но и в развитии, и я полагаю, что матери так потом и всю жизнь не удалось сделаться равным товарищем и другом своего мужа, хотя любила она его страстно, но это как-то сказалося нам всем уже после смерти отца. Время, когда она была невестой, тоже для нее было тяжелым, – отец не любил заниматься хозяйственными хлопотами; тетки хотя и принимали участие, но все это был более или менее чужой для нее народ, а приходилось делать приданое. Вышедши замуж, она не скоро потеряла привязанность к родному дому, и долго все ее интересы были там, тем более что брат все сильнее пил и ссорился с отцом, часто даже совсем пропадал из дому. От этих огорчений дедушка привык искать утешения у дочери, и ее тянуло от своей семьи к отцу, а моему отцу это не нравилось. Дома была та же история с Неофитом Николаевичем, который тоже сильно пил. Одно время он стал принадлежать к секте Орины Лазаревны, которую обвиняли в том, что она

свое учение о тайной милостыне проводила в том смысле, что можно брать и чужое, только бы оно было подано. Маменька, беспрестанно огорчаемая ссорами брата с отцом, беспрестанно боящаяся, чтобы брат не погиб насильственной смертью, обратилась к религиозным вопросам.

Через год после замужества у нее родился сын Валериан, затем – сын Владимир, потом дочь Мария и еще дочь, тоже Мария. Все последние три ребенка умерли, жили не подолгу, но отнимали много сил у матери, – она сама кормила и нянчила их, а была еще так молода. Отец все это время жил в семинарии и, кроме должности профессора, исполнял должность эконома, бывшего в то время членом семинарного правления вместе с ректором и инспектором. Ректор любил пожить весело, и в семинарии было заведено проводить вечера то у того, то у другого профессора за картами, причем, конечно, не обходилось и без выпивки, тем более что донские казаки складывали свое вино в семинарские подвалы и готовы были отпустить вино в кредит. Хозяйничанье хлебосольного ректора сказалось тем, что у семинарии получился дефицит, который пришлось покрывать. Не помню теперь, сколько выпало на долю отца, но знаю, что в это время они заняли 600 руб. и притом жемчуг, кольца и другие вещи матери были заложены. Одинокие вечера с ребятами, дефицит в хозяйстве вследствие долга, двое пьющих братьев, ссоры Флегонта Васильевича с отцом – все это ужасно мрачно настраивало мать и доводило ее почти до припадков отчаяния. Раз, когда Флегонт Васильевич пропал без вести несколько суток, ей вообразилось, что она должна его искать, и она ночью отправилась бродить – стала осматривать на мосту и по дороге к ярмарке все казачьи пикеты, где обыкновенно находились забранные за ночь пьяные и бродяги. После, одумавшись, она и сама удивлялась своей храбрости и благодарила Бога, что такое путешествие не кончилось для нее чем-нибудь дурным. После женитьбы на Марье Степановне Войновой Флегонт Васильевич стал меньше пить, и маменька стала менее беспокоиться о нем. К этому времени, кажется, следует отнести другую тяжелую полосу в ее жизни. Вследствие ли чтения или, может быть, просто жизнь натолкнула

на разные вопросы, только маменька стала мучиться религиозными сомнениями. При страстном, но крайне замкнутом характере, который был у маменьки, эти сомнения приняли очень мучительный характер. Я знаю ее и всегда помнила как человека очень религиозного и даже очень набожного, но только и до сих пор она почти никогда не читает книг религиозного содержания, чтобы «не смущаться мыслями», как она сама говорит.

Со временем отцу надоела необеспеченная жизнь и, может быть, самое профессорство, и он вздумал поступить в священники. Не знаю, к какому году отнести его занятия с графом Толстым и с другими подобными знатными учениками, но с Толстым, кажется, занимался он уже женатым. В священники он поступил в город Горбатов прямо на место протоиерея. Приход считался богатым, и говорили, что предшественник его нажил большие деньги, но это был в сущности очень бедный город, где православное население состояло почти из одних чиновников и где, следовательно, доходы безгрешные и определенные были очень скудны. Священников же было всего три, из которых старшим был, как я уже сказала, мой отец. Сколько мне помнится, другие священники не любили отца; это, вероятно, было следствием того, что он был человеком совсем других взглядов. Все купеческое и мещанское население придерживалось раскола. В это время царствовала николаевская строгость⁹, и раскольников преследовали. При прежнем протоиерее раскольники чувствовали себя очень покойно, откупались деньгами; отец завел строгости, откупиться у него нельзя было, надо было прямо делаться отписным и нести все тяготы такого положения.

Маменька рассказывала, что в первое время по приезде в Горбатов, ее ужасно тяготила враждебность окружавших людей. Хозяева дома, где они наняли квартиру, постоянно брезговали православными, беспрестанно следили, как бы мать или кухарка ее не опоганили их посуды, не почерпнули бы своими православными ковшами воды из их бочки или не положили бы в хозяйскую чашку какое-нибудь свое кушанье и т. д. Семья была большая, несколько снох, и все они были разных толков, у каждой снохи были свои иконы,

задернутые занавеской, и каждая не имела права молиться на икону другой. Старики, свекор и свекровь, уже не ели из одной посуды с другими членами своей семьи. В таком положении находилось почти все население Горбатова. Мать мою ужасно неприятно поражала эта узкая привязанность к букве, к обряду, некоторая черствость в отношениях, в особенности к иноверцам. Впоследствии она рассмотрела в этом суровом населении и в этой по преимуществу религиозно-обрядовой жизни и хорошие черты. Во-первых, к воспитанно детей относились строже, от матери требовалось, чтобы она не только питала, но также и воспитывала в известном направлении своих детей. Матери каждое утро, особенно каждый праздник, ставили своих детей на молитву, и, хотя это было, большей частью, бессмысленное отбивание поклонов по четкам¹⁰, но иногда имело и хорошие результаты, направляя мысль на религиозные вопросы. Затем в общинах невольным образом выработалось некоторое уважение к свободе совести – люди привыкли видеть, что один верит так, а другой иначе. К отцу впоследствии стали ходить не только простые люди из раскольников, а также и начетчики, и начетчицы¹¹; некоторые даже почувствовали привязанность к нему; рассказывают, что, услышав о болезни и даже смерти отца, две начетчицы прибежали к нам на двор даже из-под горы и, усевшись на крыльце, стали оплакивать отца, пока им не объяснили, что он не думал еще умирать. Почти все время своей жизни в Горбатове отец чувствовал себя не совсем здоровым, «вследствие излишнего досуга», как он говорил. Чиновное население города тоже любило отца. Особенно хороши были отец и мать с семейством городничего Н.П. Алымова. Жена его, Елизавета Дмитриевна, была чахоточной, постоянно прихварывала; у них были две дочери, старшая – почти взрослая девица,

** Теперь она жена известного писателя Бажина и сама писательница (прим. автора).*

а вторая – ровесница с моим братом Валерианом. С последним Серафимочка Алымова* и Машенька Петрова обыкновенно играли в куклы и стряпню. Впоследствии и Валериан стал ходить в приходское училище, где должен бы был сблизиться с мещанскими мальчиками, но, по видимому, он был слишком аристократичен и вырос слишком

в женских руках, чтобы находить удовольствие в их забавах и играх. В последний год нашей жизни в Горбатове его отвезли в Нижний и оставили у дедушки Василия Григорьевича учиться в училище, где он окончательно забыл все игры, если и знал какие, стал исключительно жить книжками, выучился у дедушки по-латыни и стал во многом товарищем дедушки, как прежде всегда был товарищем маменьки.

В Горбатове начались и мои самые ранние воспоминания. Родилась я в 1843 году 25 января. Мы жили в то время в [Нижегородской] семинарии, а бабушка, Елена Григорьевна, тут же неподалеку с Неофитом Николаевичем на квартире. Дядя Неофит Николаевич часто вспоминал день моего рождения, что, благодаря этому дню, он научился печь блины. Так как 25 января празднуется память Аркадия и Марии и была именинница тетка Марья Николаевна, то бабушка пекла блины; когда за ней прислали от нас, у матери начались роды; бабушка поспешила на помощь, а дядя взялся за печенье. Наш отъезд в Горбатов я не помню, но сознавать себя начала очень рано. Помню сад с окнами конюшни, выходящими в него; это, должно быть, было у Турчаниновых. Затем помню, как доктор Маврин собирался прививать мне оспу. Помню, как строился наш дом в Горбатове; помню, что я хожу по стружкам, которые навиваются мне на ноги, рядом плотники строгают пол, и в окнах еще нет рам. Очень ярко вспоминается одно утро в праздник Троицы. Мы с братом Костей сидим на окне и ждем всех от обедни. Из церкви уже начали выходить. Перед окнами посажены березки. Так как в Горбатове мы жили недолго, то, должно быть, эти воспоминания сохранились от очень раннего детства. Отрывками я помню, как мы приезжали в Нижний и останавливались у дедушки или как он приезжал к нам в Горбатов.

Помню, что у нас жил одно время Анатолий, сын Флегонта Васильевича; должно быть, его привозили после смерти Марьи Степановны. Затем я вспоминаю нашу нижегородскую квартиру. Отец перешел на службу в Нижний и поступил священником в Знаменскую, или Мироносицкую, церковь, что стоит в конце Лыковой дамбы. Первая наша квартира была на Покровке, как раз против Лыкова моста, в доме купца

Сванинишникова. Хозяин был старый холостяк и жил со своей сестрой, имел чайную и бакалейную лавку, и, если не ошибаюсь, иногда нянька Акулина брала нас с собой в лавку, и мы получали конфеты от хозяина. Квартиру эту я помню, главным образом, потому, что на дворе было много каких-то детей, и мы играли в прятки, и для этого самым лучшим и самым страшным было залезть в окно подвала, уцепиться за оконную решетку и висеть такими образом, далеко не доставая ногами до пола подвала. Страшно было, во-первых, и свалиться, а потом много там было двухвосток.

Ребенком я была, должно быть, не из приятных; говорят, что с самого детства была очень беспокойна, не брала рожок¹², спала мало и плохо засыпала, причем требовала, чтобы меня укачивали. Особенно любила, чтобы отец меня носил на руках и усыплял пением. Помню, когда мы появлялись на улице вместе с Костей, то прохожие часто обращали внимание на Костю, говорили: «Какой хорошенький мальчик!», и мое самолюбие страдало, что о девочке ничего не говорили.

Помню также, едва ли не в Горбатове, как отец меня высек. Голова моя была зажата между колен, он снял с себя вместо розги шелковый пояс, который всегда носил на рубашке. Не думаю, чтоб было сколько-нибудь больно при этом, но, конечно, очень обидно. Помню, что всякий вечер были слезы, когда меня посылали спать. Больше всего любила я засыпать тут же, где сидят большие, ткнувшись кому-нибудь за спину на кресле или диване. Помню, что у Сванинишниковых мы вставали очень рано, и, чтобы не мешать большим спать, нас с Костей брали из комнаты и, завернувши в одеяло, переносили через сени в кухню, где нянька Авдотья давала есть гречневой каши с молоком, а в пост – с постным маслом, что я очень любила. В это время меня кормили серой, посыпанной на черный хлеб, кажется, это делалось потому, что у меня была золотуха. В Горбатове у Кости была нянька Акулина, которую нам давала Мар[ия] Борис[овна] Грюндель, вдова доктора; она жила рядом с нами, и, кажется, она же дала и землю под дом с тем, чтобы потом наш дом поступил в ее пользу. Акулина была старая крепостная; у нее, кажется,

ничего не было своего, носила она очень грубые платья из красной набойки¹³ и ничего не видала кроме Горбатова. В Нижнем над ней все потешались. Скоро она почему-то была отослана назад, и у нас осталась одна Авдотья, девица из села Панова. Это был человек самостоятельный. Сначала она служила в кухарках, потом – в няньках и выжила у нас 17 лет и сыграла довольно большую роль в образовании наших характеров. Я ее не любила, ссорилась с ней, во-первых, за то, что, умывая, она царапала мне лицо кольцом Варвары Великомученицы (какие приобретаются в Киеве), во-вторых, за то, что, нянчась с Леней и Ниной, она заставляла меня прислуживать ей, т. е. помогать, и я считала это за унижение. В то же время она была для меня человек интересный: дожить у нас она ходила два раза на богомолье в Киев и очень хорошо рассказывала о пещерах, о службе в лавре¹⁴, а, главное, о том, как они останавливались в лесочке где-нибудь у реки, как цвели яблони в самую раннюю пору, когда у нас одни вербы распускаются, как стирали белье на остановках, как просились ночевать где-нибудь у хозяйки; одним словом, она передавала всю поэзию путешествия, и я начала также мечтать сходить пешком в Киев. Кроме рассказов о путешествии, у няньки много также было рассказов исторического и сказочно-этнографического характера. Жизнь ее родного села имела в себе слишком много оригинального, чтобы нам даже в том раннем возрасте не заинтересоваться этими рассказами, хотя, конечно, у Авдотьи был к ним личный интерес. Впоследствии брат Валериан прямо-таки заставлял ее рассказывать, интересуясь тем этнографическим материалом, какой находил в ее рассказах. Умела нянька также рассказывать и сказки. В ее устах все эти Иванушки-дурочки получали различные оттенки индивидуальности, в каждой сказке она умела придать им своеобразную окраску – один был совсем наивный дурак, другой – с хитростью, третий – с упрямством, озорной дурак. Были также и трогательные рассказы. Больше всего я любила рассказы о царевне-лягушке, о том, как она в качестве жены младшего Ивана-царевича завоевала себе все симпатии и как муж сжег ее шкурку и за это должен был искать ее по белу свету. Мастерица была рассказывать

нянька. Потом она много наслушалась книжных рассказов, и потому у нее многое перемешалось. По части рассказов баловала нас также иногда тетка Капитолина Николаевна. В зимний вечер придем мы к ней, она работает что-нибудь и рассказывает; но у нее все было в другом роде – то легенды о Николае Чудотворце, то о других святых. Многие из этих рассказов запомнила она еще в то время, как жила дома в Селитьбе и когда осенью в дом приходили швецы шить зимние шубы и др. платье; эти швецы, кроме шитья, имели своей специальностью рассказы.

Кроме того, в Горбатове у нас очень часто бывала и вообще близка была к нашему дому жена церковного старосты, прядильщика канатов, Анна Яковлевна Брагина. Очень она большое влияние имела в детстве на меня, почему-то она меня особенно любила, и я помню, что чувствовала себя очень уютно, забравшись к ней на колени и прижавшись к ее белой холщовой рубашке, завязанной яркой ленточкой, тогда как полы ее бараньей шубы окутывали меня сверху. Эта Анна Яковлевна каждый год не раз приезжала к маменьке погостить. Вот она тоже обыкновенно забавляла нас рассказами, у нее опять были рассказы особого характера, все больше про чертенят; в ее рассказах все это были веселые проказники, которые вреда людям собственно никакого существенного не приносят, а так понемногу пакостят. Рассказывала она к случаю: поставят что-нибудь непокрытое, Анна Яковлевна непременно покроет посудинку чем-нибудь, хоть лучинку положит поперек, и начнет рассказывать, как вредно оставлять непокрытым и какие из этого происходят вещи.

Когда я выросла, она рассказывала мне о крепостных невзгодах, в молодости она была крепостной очень злой и развратной барыни. В рассказах Анны Яковлевны было очень много добродушия, незлобности и даже больше – самой высокой гуманности. Муж ее был также очень добрый человек, но, по-видимому, главой дома была Анна Яковлевна. У нее было два сына, оба женатые, очень много внуков; внуки тоже поженились, и вся семья жила в одном доме, промышляя прядильней. Впоследствии, когда мне случалось приезжать в Горбатов, мы всегда бывали у Анны Яковлевны, и вообще

в делах ее семьи я всегда принимала живейшее участие. Через Анну Яковлевну и няньку с ее родными и друзьями, которые все также были нам хорошо известны и останавливались обыкновенно у нас, мы, дети, и получали наше знакомство с жизнью народа. Иногда случалось, что брат няньки жил у нас несколько дней или мать ее приезжала к нам. Иногда кого-нибудь отдавали из их рода в солдаты, тогда мы близко узнавали всю эту драму бывшей крестьянской жизни. Нянька как любительница сильных драматических впечатлений каждый год даже ходила посмотреть, как идет приемка. В прежнее время это, да наказание плетью доставляло народу зрелище. Помню, как нянька, возвратясь, рассказывала о виденных сценах; о том, как инорок привел в цепях, как его оплакивают родные, как причитают; с большим сочувствием относилась, когда крикнут: «Затылок!». Как рекрут, получивши затылок, бежит обыкновенно из присутствия голый, и за ним вся родня, подбирая его рубаху, шубу, шапку и т. д. Нечего и говорить, что мы, дети, жадно выслушивали все такие рассказы. Были также рассказы о том, как гуляют наймисты¹⁵. Помню, как всегда, меня возмущало их поведение, и я удивлялась, как им позволяют так безобразничать.

От Сванинишниковых мы перешли в свой дом на Ильинке. Кажется, еще жили у Олесовых, но что-то ничего не помню. На Ильинке дом был маленький, и, кажется, отец перестраивал его; на дворе были развалины большого дома, их скоро разобрали, боялись, что дом рухнет и задавит нас, — мы любили в него заходить — посмотреть; на дворе был еще флигель, где поселилась Капитолина Николаевна, все еще продолжавшая пускать семинаристов.

В это время у нас родился Леон, был, следовательно, 1851 год. Беременность матери и рождение ребенка впервые навели мои мысли на вопросы, на которые, обыкновенно, девочкам не отвечают. Помню, что я очень долго ломала голову над тем, каким путем вышел ребенок. Нянька сказала мне: «Из уха вылез». Я несколько сомневалась, но в это же время я купила на ярмарке «Душеньку» Богдановича, перевертывала на все лады эту совсем не детскую книжку; в ней я натолкнулась на фразу: «Ходила Душенька с завешанным

ушком». Я и подумала, что, верно, в самом деле ухо играет роль в вещах, считающихся нескромными.

Рождение Леона памятно мне потому особенно, что я слышала раздирающие крики матери и испуг при этом отца, который ходил в это время с нами по двору. Нас долго после не пускали в комнаты, и мы, кажется, это время даже жили в кухне. Мать долго была больна, едва оправилась, но помню, когда она встала, то даже я заметила, или, может быть, говорили вокруг, что она очень похорошела. Из того, что я читала «Душеньку», я заключаю, что я уже к 8 годам одолела грамоту. Действительно, теперь припоминаю, что азбуку, собственно, я учила под руководством маменьки у Сванинишниковых, и помню, что мать часто сердилась при этом. Азбука была хорошая, с картинками; помню стрекозу и казуара¹⁶, да в конце книги рассказ о трех детях – Яшеньке, Пашеньке и Агашеньке. Этот рассказ Валериан, должно быть, прочитал, давая мне понять, что некоторые черты дурной девочки могут быть приписаны и мне, что меня очень огорчило. Затем уже на Ильинке помню, что меня заставляли читать псалтырь Блаженного Августина. Книжка только потому казалась пригодной для детского чтения, что была напечатана крупным шрифтом, зато слова в ней случались ужасно длинные, и мне даже казалось, что мать иные и сама с трудом выговаривает, и я отказывалась их выговаривать или перевирала, и книжка летела на пол. Когда выучился читать Костя, не помню, должно быть, мы выучились вместе, писали, помню, вместе, и всегда являлось соревнование. Буквы мы всегда олицетворяли: они были гордые, веселые, печальные, спесивые, с поджатым хвостиком и т. д. Учила нас всегда маменька, но очень часто, усадивши нас учиться, она уходила в кухню, и, когда нам надоедало сидеть, то мы обращались к отцу; иногда он отказывался отпустить нас, посылая к матери, а иногда отпускал своею властью¹⁷.

Публикуется по: *Александра Викторовна Потанина (биографический очерк) // Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Алтаю: сб. статей А.В. Потаниной. М., 1895. С. II – XVII.*

КОММЕНТАРИИ*

¹ По свидетельству составителей биографического очерка, рукописные записки А.В. Потаниной имели пометки «Урга, 1892 г., 23 октября» и «Пекин, ноябрь».

² Валенками в XIX в. называли и зимнюю валяную обувь, и изделия из овечьей шерсти, или короткие чулки, под зимние сапоги.

³ Вакации – каникулы, или зимние праздничные дни Рождества.

⁴ Здесь – содержатель, устроитель, хозяин.

⁵ Речь о перьях для писания чернилами, изготовленных из гусиного пера с чинкой его перочинным ножиком.

⁶ Головка – женская головная повязка, платок, косынка.

⁷ Директория – исторический период 1790-х гг., когда Французской Республикой управляла Исполнительная директория.

⁸ Чепец – женский головной убор, который в основном носили представительницы привилегированных сословий.

⁹ Имеется в виду время царствования Николая I.

¹⁰ Четки – нитка бус или ремешок с узелками для счета молитв и поклонов.

¹¹ Начетчик и начетчица – церковные чтец и чтица из прихожан.

¹² Обработанный коровий рог с привязанным засушенным коровьим соском, использовавшийся для кормления ребенка молоком.

¹³ Грубая ткань, миткаль или холст, набитая, т.е. окрашенная красным.

¹⁴ Лаврой называли какой-либо знаменитый многолюдный монастырь.

¹⁵ Наймист – тот, кто нанимает в солдаты.

¹⁶ Птица из отряда страусов.

¹⁷ Публикация записок завершается словами: «К сожалению, Александра Викторовна не успела довести до конца своих интересных записок, и на этом месте они прерываются».

** Сост. по: Даль В.И.
Толковый словарь живого
великорусского языка:
в 4 т. 10-е изд.
М., 1989. Т. 1–4.*